

*Светлой памяти живописца
Григория Николаевича Журавлёва посвящаю.*

Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нём явились дела Божии.

(Ин. 9, 2)

От царских чертогов до СВО

(В М Е С Т О П Р Е Д И С Л О В И Я)

Наступил на «ведьму»

Мысль предварить издание «Дара над бездной отчаяния» вот этими строками зародилась от ракетных ударов, взрывов мин и снарядов там, на СВО. Наверное, Великая Отечественная, Афган, Чечня и другие военные конфликты за сто лет не дали столько раненых с ампутациями, как спецоперация на Украине.

Мне приходилось встречаться с такими ребятами в госпиталях Луганска, Самары да и уже на гражданке тоже.

«Ну это как есть, только наоборот...» — находит силы пошутить в телефонном разговоре с женой с госпитальной койки раненый боец. Осколком 155-миллиметрового снаряда ему отрубило руку. Но и за шуткой не спрятать растерянность и беспомощность.

«Замаринованный» обезболивающим штурмовик после операции вторые сутки лежит лицом к

стенке. Ампутировали ноги выше колен. При наступе не заметил под ногами ОЗМ-72 (осколочно заградительная мина кругового поражения, в обиходе «ведьма», «лягушка» — подпрыгивает, потом взрывается»). При эвакуации в зелёную зону умолял ослабить жгуты на обрубках ног. «Если отпустим, ты вытечешь!» «Отпускайте. Не хочу калекой!..» Позже шок пройдёт. Швы зарубцуются. Вместе с «коллегами» будет гонять по госпитальному коридору на коляске, не взирая на шутивное предупреждение медсестёр: «Ограничение скорости 5 км/ч».

Но на какой коляске уедешь, скроешься от терзающих душу мыслей, что ты, вчера ещё упругий, ловкий и быстрый, превратился в «человека с ограниченными возможностями»? Оно, ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) подкрадывается не сразу. Погружает в глубины отчаяния и обид: «У них есть руки-ноги, а у меня нет. Чем я хуже?» Как сказал один из ребят на протезах: «Если дать обиде волю, ежедневно подкармливать нытьём, разрастётся и сожрёт тебя».

Устоять, не опустить руки (даже если их нет) помогают психологи, волонтёры, родные, друзья. И ещё укрепиться духом помогает пример тех, кто ранее смог преодолеть «бездну отчаяния».

Герой нашей книги (его прообраз — самарский крестьянин Григорий Журавлёв) не имел ни рук, ни ног. Но он, Григорий, принёс человечеству большую пользу, чем миллионы канувших в безвестность его современников. Жил и писал иконы зажатой в зубах кистью. И сегодня его иконы в ряду работ великих

живописцев можно увидеть в Эрмитаже, в музее Андрея Рублёва в Москве, в Самаре и в храме родного его села Утёвки.

Для моего доброго товарища Владимира Смирнова, потерявшего ногу от гангрены, «Дар над бездной отчаяния» стал настольной книгой. «Случается, культю гильзой сильно натрёшь или боли фантомные в ампутированной ноге замучают. Настроение падает ниже плитуса. Тогда беру в руки „Дар...“, открываю на закладках, перечитываю. „Обрубьш“, „самовар“ — и так прозывали Григория на селе, шагу сделать не мог, по земле катился, иконы зубами писал, а я тут сопли-вопли со своей царапиной...»

Предшествующее издание «Дара над бездной отчаяния» мы вручали раненым бойцам в госпиталях Луганска и Самары, отправляли с гуманитаркой на СВО, отсылали в московские госпитали Бурденко и Вишневского (разумеется, бесплатно).

Над героями время не властно. Лишившимся на СВО рук или ног воинам и всем нам герой романа из столетней дали являет пример, как с Божией помощью неустанными трудами даже без рук и без ног возможно вот, так, зубами, разорвать свои «ограниченные возможности».

Р.С. Очень бы желалось, чтобы Главное военно-медицинское управление Министерства обороны РФ заинтересовалось и приняло участие в издании дополнительного тиража «Дара над бездной отчаяния» для моральной поддержки раненых — бесплатной раздачи книги в военных госпиталях.

Поводырь

В Утёвском храме Святой Троицы, стоя перед иконами, написанными этим человеком, принял я решение рассказать о его судьбе. С того момента убогий крестьянин, «обрубок человеческий», «самовар» — и так называли его при жизни — сделался моим сотоварищем. Это он повёл меня путями Христовых заповедей. Свет его духовной свечи помог мне выйти из тьмы неведения, открыв сокровища православной культуры. Это он дал мне возможность соприкоснуться с величайшим опытом Православной Церкви по бережению и очищению души человеческой, воспитанию сердца милующего — с божественным огнём, похищенным в окаянные дни семнадцатого года.

В моменты сомнений и отчаяния при работе над романом сама мысль о его терпении и подвиге окормляла и давала силы. Эпизодами своей биографии Григорий Николаевич «подсказывал» сюжетные ходы, мостил ступени для восхождения к высотам духа.

Он, русский крестьянин, подвинул меня к изучению и осмыслению величия жертвенного подвига последнего русского государя Николая II Александровича, испившего горькую чашу за свой народ. Обелил в моих глазах и поныне распинаемых ложью и ненавистью императрицу Александру Феодоровну, Григория Ефимовича Распутина, Анну Александровну Вырубову (монахиню Марию). Потому Григорий Николаевич Журавлёв для меня есть большее, чем просто прообраз литературного героя.

*Сергей Жигалов,
член Союза писателей России*



Обрубыш

...Человек рождается на страдание,
как искры, чтобы устремляться вверх.

(Иов 5, 7)

1

Высоко в жарком июльском небе ходил великий орёл о двух головах. Растопыренные, будто мужичьи пальцы, перья на крыльях, подрагивая, ловили восходящие от земли горячие потоки. Рыжевато-серые головы с раскрытыми клювами глядели на стороны. Два жёлтых зрачка одной озирали разлитое в зелёных берегах речное серебро. Другая, не мигая, смотрела на солнце, где в сиянии трепетали стрижи.

Огромная тень летела по белому ковылю, отражалась в зеркалах озёр, заставляя нырять диких утят. Невиданный, будто слетевший с золотого царского герба, орёл ходил над поймой реки Самарки, над крышами села Селезнёвки.

До красной Русской Голгофы оставалось чуть больше полувека. Для человека — жизнь, для

вечности — всего лишь миг. Как страшно не видеть будущего, и как всё же это милостиво.

Две пары орлиных глаз углядели вдруг зашевелившийся у воды камыш. Птица пала из поднебесья, зависла в ожидании, часто махая крылами. Вывалилась на луговину из зарослей грязная по самые рога телушка, мыкнула освобождённо. Орёл взмыл в синь. Живой молнией пролетел над канителившимся у омута стариком с ошалелыми глазами. Упираясь голыми пятками в берег, тот тянул уходившую под воду вожжину, а невидимый водяной зверь на конце её волок рыбаря в Ершову слободу.

И это для орла не добыча: человека не закогтишь и в гнездо не подынешь — зело недрист,* вдобавок костист. От гнезда на макушке вековой приречной ветлы ветерок донёс голодный писк орлят. Крики птенцов смешались с человечьи-ми. Сельская ребятня, прослышав, что дед Никиша под Черёмуховым омутом сражается с водяным медведем, мчалась ему на подмогу. Афонька с меньшим братом на закорках приотстал. Глотал пыль, злился. Гришатка подрост, тяжелёхонек сделался, как дубовый кряжок. В сердцах ссадил с плеч наземь:

— Обожди тут, я мигом. Гляди, следом не катись, по шее получишь!

Брошенный малый поднялся в дыбки, зашмыгал носом. С крутого косогора как на ладони вид-

* *Недристый* — имеющий широкую грудь.

ны строчащие пятками по скошенному лугу удалые сомятники, за ними Афонька в пузырящейся на спине рубахе. Добежали до речки, нырнули в кусты. Подняли крик.

— Тянут, сражаются,— аж сердчишком зашёлся малец. Крепок на слезу в свои пять годков Гришатка, а тут не стерпел: — Почто, Господи, не сподобил меня ножками, как их вот. На этих культяпках и шаг сделать больно.

Слёзы бы утереть, да нечем. Шевелятся под рубахой вроде как жавороньи крылышки вместо рук. Воды напиться — ковшик деревянный за край зубами прикусывать приходится. Дома одному целыми днями сиднем сидеть ух как тягостно. Сколько ни ругалась матушка, научился кататься по земле бревёшком. Ложится наземь, переваливается с пузишка на бок, с боку — на спину, да ловко так. Ребяшня бежит, а он за ними котма катится. Рубаха вот на плечах только быстро протирается и пыль в глаза лезет.

...А крики из-под берега всё гуще. Не поддаётся сомяка-то. У Демьяна Ушакова один такой весной гусака с перьями заглотив и у баб на мостках бельё прямо из рук рвал... Все там, на берегу, а он тут, брошенный. Афонька, стервец, забыл про него напрочь. Может, его сом хвостом оглушил... Охота прямо по кособору скатиться, но больно уж круто. Тележная колея наискось уходит, гибая широко расползшуюся под кручей болотину. Бьют там, в зыбучей бездонной прорве, ледяные родники. Хаваает она ядовито-зелёной пастью

кучерявых весенних ягнят, телят, не брезгует и распалённой волками косулей. Раз даже заблудившегося хмельного мужика приняла в свои объятия.

Из-под облачной выси уцелил орёл на косогоре Гришатку. Человек — не человек, сурок — не сурок. Некрупный, подъёмный. Зашёл от солнца, прячась в золотых лучах, как волк в кустах чилиги, и пал на жертву. Мгновенно выпростал из пуха подбрюшья страшные когти. Волкам-перерякам, молодым косулям ломал двуглавый хребты, впившись одной лапой в круп, другой — в загривок. Он чуял всякую несообразность в зверином мире: барсука с капканом на лапе, слепую косулю, раненого гуся... Тут же в облике человеческого детёныша была какая-то недвижимая обрывистость.

Крестовая тень чирканула Гришатку по глазам за миг до удара. Он успел поднять голову на шум крыльев — прямо на него падала страшная двуглавая птица с лаково блестящими когтями. Ребёнок и голодный орёл ударились взглядами. Память птицы молниеносно скатала в горячий ком страха человеческий взгляд, посвист стрелы, рвущую крыло боль и понудила отвернуть от добычи.

Теребнув когтями полынок, орёл забил крыльями, выправился. Прямо перед Гришаткиным лицом взметнулись кверху две головы с жёлтыми полосками на кривых клювах. От крыльев в лицо плеснуло горячим вихрем. Гришатка упал животишком в полынок и покатился. Ниже ко-

согор был круче и пресекался у самой прорвы обрывом. Гришатка, сам того не желая, катился всё быстрее. Перед глазами мелькали трава, небо, трава... Остистые султаны ковыля секли лицо, впивались сквозь рубашонку в тело. Были бы ноги-руки, упёрся бы, хватался за стебли, за корни, а так — будто брѣвнышко, подпрыгивая на кочках, летел вниз. Ещё мгновение, и увечное тельце, прочертив над обрывом дугу, канет в трясину. Чавкнет и сомкнётся зелёная жижа, пузыри разбегутся. Мгновение... Не оно ли отделяет наше земное существование от небытия?

Кто убегает, за тем и гонятся. С гудом канул орёл из поднебесья на летящего с обрыва Гришатку. Одной лапой впился в надувшуюся на спине рубашонку, когти другой вонзил в ошкор* портков. Горбясь от тяжести добычи, натужно замахал крыльями. В водяных оконцах болотины отражённо мелькнуло Гришаткино тело с крыльями по бокам. Ветер обдувал посечённое ковылём лицо. Голова кружилась. Вот только что он больно колотился о землю, а теперь летит. Внизу — луг, река. Видел, как, задрав головы, машет руками, бежит ребяшня. Впереди — Афонька.

Кричит, швыряет в орла комья грязи. Странное дело, но Гришатка почему-то не испытывал страха. Его вдруг захлестнула несказанная радость. Будто из ребячьего навывлет колотящегося

* *Ошкор* (ошкур, очкур) — пояс, опояска, стягивающая штаны, шаровары.

сердчишка выросли могучие, поднявшие его к небу крылья. Без ног, без рук, а выше всех. Испугался он позже, когда услышал треск рвущейся рубахи и повис головой вниз. Орёл снизился, норовя сесть и перехватить когтями. Но набегавшая ребятня его испугала.

Густой камыш, будто постель, принял вывалившегося из орлиных когтей мальчика. Афонька первым подбежал к лежащему в грязи братцу. Плача, обтирал ему личико подолом рубахи:

— Глаза-то не выклевал? Ну-ка, поморгай!

— Видели! Вы видели, как я летел?! — Гришатка вскинул сияющую грязную мордашку. — Выше неба!

— А спину-то как он тебе расчерябал, — задирая брату рубаху, сокрушался Афонька. — Я тебе ждать велел, а ты?!

«Гля, на горбу кровит». — «Рубаху когтями издырявил». — «Когтищи-то — как серпы!» Ребятишки обступили Гришатку. Стёпка Леушев с крупной, как тыква, головой на тонкой шее, заводи́ла всех проказ, почесал ногу об ногу:

— Дерево, на каком гнездо с орлятами, обложить сушняком и поджечь, чтоб упало. Будет знать, как людей таскать!

— Не надо, ребя, он меня подхватил, а то бы я в болотину закатился, — тихо попросил Гришатка. — Сома-то вытянули?

— А то. Как боров жирный. Никиша хотел дубинкой оглушить, а он как хвостом ахнул, так дед кверху кобылкой и перепрокинулся, — засмеял-

ся Стёпка.— Айда на бугор, а то нас тут гундяки* загрызут. Гля, чья-то мать с палкой бежит, вроде Гришкина...

Крестьянские дети — ловкие и смелые, умеющие белками лазать по деревьям, скакать без сёдел на конях, плавать как рыбы, — отхлынули от изваленного в грязи окровавленного Гришатки в камыш, от греха подальше.

...Арина месила тесто, когда в избу забежала свояченица Антонина. Платок в горсти, глаза навывают:

— Гришатку твою орёл унёс!..

— Какой орёл, чо буровишь? — охнула Арина.

— В пойме дед Никита видал. Подхватил, говорит, и в гнездо понёс.

Не помня себя, Арина выбежала за ворота — босая, руки в тесте. Кинулась через огороды в пойму. Платок с головы сбился, в руке полощется. Увидь она в орлиных когтях своего обрубышка желанного, свечечку ясную, сама бы, наверное, в небо взлетела, догнала бы, отбила. Но до самого горизонта — ни пятнышка.

Обрывается материнское сердце, летит в пустое небо, как в пропасть. Взбежала на бугор — распахнулась глазам пойма. Ребятня белоголовая в камышах. Афонька там, а Гришатки у него на спине не видать. «Унёс! Знать бы, гнездо где...»

Когда подбежала близко, увидела своего обрубышка в вытопанной осоке, схватила на руки.

* Гундяки — комары.

Стала целовать, опалая порывистым дыханием грязное ясноглазое личико. Гладила по вздрагивающим плечам, пятнала тестом. Ребятишки, уже подступившие ближе, тупились взглядами в землю. Афоня, понутив голову, ловил пальцами ноги зелёную травинку.

2

...Третьи кочета прокричали. Вся нечисть по тёмным уремам да кручам попряталась. Гулёные девки и парни позасыпали на сеновалах — руки вразброс. Один Никифор Журавин до рассвета ворочался.

Лезло в голову страшное: «...А в гнездо бы унёс? Расклевали или с высоты страшучей разбили бы до смерти кровиночку убогую... Мало этому стервецу двухголовому уток, кур, зверья мелкого. Казахи, какие охотничьих беркутов держат, говорят, если орёл хоть раз собаку утащит, то детей непременно красть станет. Убивать такого надо без жалости». Представлял, ворочался, разгоралось сердце злобой. Хоть посередь ночи вскакивай с полатей и беги туда, к приречным вётлам. И пусть деревья в три объёма. За Гришатку бы своего ствол древесный зубами, как бобёр, перегрыз, чтобы ветла с орлиным гнездом оземь грянулась. До ломоты стискивал челюсти Никифор, и сам пугался разгоровшейся в нём ярости.

Какой тут сон... Пришла вдруг на память ночь, когда Арина рожала. Он на тот час по двору кру-

жил. До пяти разов в снег на колени падал без шапки, молился истово, чтобы не померла родами. Ночь лунная, мороз. Снег под лаптями хрустит. Студёно, мёртво. Месяц ясный полнеба прошёл, пока повитуха, бабка Кондылиха, из банной двери в клубах пара вывалилась. Кинулся к ней в ознобе:

— Сын?

— Сын-то сын... — шамкнула из парного облака старуха и ещё что-то промузюкала.

Но Никифор услышал то, что сильнее всего на свете хотел услышать.

— Сын родился! — сдёрнул с головы шапку, подбросил к колючим звёздам. — Сы-ы-ын!

А Кондылиха, клюка горбатая, за рукав дёргает:

— Сподобил Господь, убогонький младенец-то. Ручек-ножек у души ангельской совсем нетути.

Отпихнул повитуху дерзко. Кинулся в баню. Ударило по глазам распластанное на соломе голое тело Арины.

Визг её выбил Никифора наружу. От удара о низкую притолоку в голове колокол загудел: «Нетути, нетути...» На холоде опаматовался, пощупал шишку на затылке, перекрестился: «На всё воля Божья». Поднял валяющуюся на снегу у плетня шапку: «Как же ему без рук, без ног жить — мучиться? Чай приберёт Господь...»

...Первые полгода Никифор к люльке не подходил, стеснялся. На Арину серчал. Корова в хлеву мычит недоеная, тесто из дежи через край на

лавку, с лавки на пол лезет, а она всё с Гришаткой воркует, оторваться не в силах. Но со временем и сам к нему сердцем прикипел. Афоня тоже в младшеньком братце души не чаял. Кошка Пеструшка, и та с печи к Гришатке в люльку спать ушла. Арина и тряпкой её стегала, и на мороз выкидывала, глядь — наутро Пеструшка опять в люлке. В уголке клубочком свернётся и песни мурлычет.

Замечал Никифор: на дворе хмарь, дождь, сивер. Все ходят унылые, ознобленные. А Гришатка в зыбке заагукает, разулыбается — по избе будто светозарная зыбь расходится, колокольцы радостные звенят. И все домашние стараются друг для дружки. Данила-богомаз тоже успорял,* будто когда Гришатка агукает, у него лики на иконах светлее получают.

Незаметно мысли свернули на Данилу. Господь его им послал. Гришатка, когда подрост, мог часами неотрывно глядеть, как тот иконы пишет. Позовёшь, а он не откликается. Как замороженный стоит около стола, глазом не сморгнёт. Губёшки сухие облизывает, будто жажда донимает. А поить станешь, уклоняется.

«Нет случайностей в мире Бога», — ворочался в постели Никифор, вспоминал, как Данила появился...

...Лет семь назад, в самые крещенские морозы — воробьи на лету падали — постучался в их избу

* *Успорять* — настаивать на своём.

странник. Обогреться. На горбу берестяной короб, вроде как с товарцем. А видом на коробейника не похож. Скуфеечка на нём монашья. Невысоконый сам по себе, не сказать что старый.

В чертах лица тонок, головою лыс, глаза запавшие, но ясные, ласковые. Когда странник рукавицы снял, Никифор ахнул — пальцы все сине-красно-зелёные. Говорит не густо. Часто «печать на уста кладёт». Но в разговоре каждое слово перед собеседником, будто яблоко на стол, выкладывает: «хочешь — слушай, хочешь — скушай». Оказался Данила богомазом, а в коробе у него лежали краски да образцы на листах, с коих он иконы на досточки перерисовывал.

Так и прижился Данила у Журавиных. За лето в четыре руки сложили они саманный пристрой к избе с двумя ходами: один в избу, другой — наружу. Окна на солнечную сторону вывели. Потолок из плах осиновых накатали, крышу камышом покрыли. Данила сам печку с большой лежанкой сложил. Полати из досок сколотил, два стола, верстак столярный, лавки. И получилась у них к осени мастерская — и работай, и прямо тут живи. Данила на липовых и ольховых досточках писал растёртыми в ступке каменными красками краснушки* — иконы: «Иисус Христос с предстоящими», «Богоматерь Скоропослушница», «Спаситель»,

* *Краснушка* — разновидность народной иконы. Написанные местными умельцами краснушки получали благословение Церкви. Имели красно-коричневый колорит, оттого так и назывались.

святых угодников. Иконки выходили светлые, взору радостные.

Никифор наловчился к ним кузнь — оклады из медной и серебряной фольги — ковать. Кто побогаче, заказывали иконы в окладах, крестьяне же покупали «дощечки», убирали их в льняные пелены, устанавливали в святом углу на божнице. И так они с Данилой на этом деле поднялись, что Никифор от земли отошёл и стал свой надел сдавать внаём.

До денег Данила совсем оказался простец. Последнюю копейку встречному-поперечному отдаст. Молился на образа подолгу, истово, будто душой отлетал в мир горний. И лик у него высветлялся так, что Никифор и Арина глядеть на него в такие часы стеснялись. В еде был прост: горбушку хлеба сольцой посыплет, кружку воды зачерпнёт — и весь обед. Но как ни прост был постоялец, Никифор сразу почуял, что «это птица высокого полёта, и не нам чета...».

Сельский почттарь, мужичонка пустой, но занозистый, раза два-три в год приносил Даниле письма в жёстких орлёных конвертах и вручал с низким поклоном. В такие дни Данила ложился на полати лицом к стенке и подолгу лежал недвижимо или пропадал из дома. Люди видели его в дальнем лесу. Сидел на пенёчке, обхватив голову руками. Возвращался иной раз на рассвете, мокрый от росы. Вздывал лампадку, молился. Наводил краски и, острожевав лицом, дотемна писал всякий раз чудотворный образ Божией Мате-

ри «Неупиваемая Чаша» — с изображением благословляющего Богомладенца в Чаше, стоящей на Престоле. «Грех какой-то его мучит», — жалела Арина. «Духовную власяницу на себя человеке воздел», — вторил ей селезнёвский священник отец Василий.

С Гришаткой Данила тоже был немногословен, вроде как даже холодноват, но парнишка льнул к нему. Часами неотрывно глядел, как тот левкасил доски, писал образы, крыл олифой. Никифор, ревнуя, остужался на постояльца сердцем и оттого, каясь в душе, был внешне чересчур мягок, боялся брякнуть лишнее.

С некоторых пор стал замечать: губы у Гришатки чернеть стали. В обед из-за стола вылезает — губы как губы. А к вечеру — опять чёрные. Он к жене: уж не болезнь ли какая напала? Арина рукой махнула:

— Господь с тобой. Малюет наш обрубышек.

— Как так, чем?

— А ты приглядишься.

И правда: забьётся малыш в угол, дощечку оструганную приспособит, уголёк зажмёт зубами и возит. Только головёнка туда-сюда колышется. На Никифора попервам робость напала. Невесть отчего боялся глядеть. Но как-то вечером, когда Гришатка уснул, он насмелился, достал спрятанные дощечки из печи. На одной окно и кошка нарисованы, на другой — изба. Из трубы дым завитушками. Да так всё явственно, как и рукой не нарисуешь.

Никифор дощечки Даниле показал, а тот даже не удивился. Оказывается, давно Гришатку к этому делу подвигал: с Божьей помощью малый, глядишь, иконы нерукотворные писать зубами станет. С того дня Никифору будто луч светлый на душу из тьмы пал: ну как и взаправду при деле малый очутится? А тут на тебе — этот орёл налетел. Унёс бы в гнездо, расклевали бы, косточки белые на землю побросали... И опять загоралось сердце, колотило в рёбра, будто лететь за Гришаткиным обидчиком просилось.

...Рассвело уж, когда Никифор задремал. Поднялся обессиленный, тело ломит. Будто всю ночь черти возы с горохом на нём возили да тот горох на спине молотили.

— Уж не захворал ли, Никиш? — беспокоилась Арина. — Всю ночь ворочался...

— С чего ты взяла? — глянул в осколок зеркала, вмазанный в печь, подивился: — Эко злостью рожу-то за ночь скомкало. Орёл этот на грех навёл, окаянный. Теперь повадится...

...Вечером того же дня Никифор запряг в телегу мерина. Бросил для отвода глаз косу и поехал в пойму. Как сказал учитель Подорожников, у которого он выпросил одностволку и три патрона, «осуществлять возмездие».

Лошадь с телегой оставил в кустах поодаль. Раза три обошёл вокруг вздымавшейся над берегом необхватной ветлы с орлиным гнездом. Под ногами хрустели кости, скалились из травы зверушечьи черепа с дырками глазниц. Сквозь лист-

ву виднелась вверху огромная лепёха гнезда. Сыпался оттуда пронзительный клёкот птенцов, мелкими колючками впивался в сердце: «Чем они виноваты, коль Господь создал их хищниками?» Но тут же всплывало в памяти исцарапанное Гришаткино личико, рубец на спине от орлиных когтей, и жалость улетучивалась. Стрелять с земли сквозь ветви было несподручно. Никифор облюбовал жилистый густой вяз напротив ветлы. Влез на самую макушку. Разглядел тёмных, уже в пере, двух крупных орлят. Они взбирались на самый край гнезда и мощно махали крыльями. У каждого — по одной голове.

Опять шевельнулась жалость, но отвёл глаза и больше туда не глядел. Укрепился в развилке ветвей, ружьё повесил на сухой сук и стал ждать. Под шум листвы унёсся мыслями домой. Арине сказал, что поехал сена корове накосить. Всех ей жалко. Когда по осени свинью режут, в дом убегает, подушку на голову кладёт, чтобы визг не слышать. Похоже, и Гришатка сердцем мягкий в мать...

Вздрогнул, сбился с мыслей. На ветку — рукой дотянуться — сел кукушонок, взъерошенный, лупоглазый. Тарашился на Никифора, моргал. И тут накатился шум. На край гнезда, раскрылатившись, села пугающе огромная птица. Из листвы Никифор отчётливо видел две головы. Одна была, как у всех птиц, между плеч, вторая, поменьше, росла от основания шеи. В когтях орла обвисал, мягко светясь в лучах заходящего солнца,

рыжеватый зверёк. Птенцы кинулись к добыче. Пронзительные крики оборвались. Полетели клочья меха. Двуглавый сидел на краю боком к Никифору. «Так бы они и Гришатку терзали...» Кривясь от ломоты в затёкших ногах, Никифор поднял ружьё. Кукушонок сорвался с ветки. После выстрела орёл закурил головами. «Выше взял», — понял Никифор.

Переломил ружьё. Подрагивающими пальцами вытащил медную гильзу. Остро пахло горелым порохом. Второй выстрел сорвал орла с гнезда. Кособоко, почти падая, он полетел на луг. Распластав крылья, кувыркнулся в осоку и скрылся в ней, как в воде. Птенцы рвали добычу. Никифор слез с вяза, хромя, добежал до лошади, погнал туда, где упал хищник. На дереве обдувало ветерком, здесь же, в низине, столбами вилось комарьё. Никифор, враз обессилевший, мокрый от пота, лазил по густой, выше пояса, траве. То и дело оглядывался, будто творил что-то нехорошее, воровское. Он и сам не знал, зачем так упорно ищет подбитую птицу. И когда за спиной вдруг раздался клёкот, почудилось, будто из осоки тянется к нему здоровенная змея.

Резво отпрянул. Перекрестился, с силой тыча троеперстием в потный лоб. Два царя тарачились друг на друга. Один — волею провидения или в результате игры природы повторивший Российский герб. Другой — венец природы, потный, босой, с вскосмаченными волосами, полный страха и оттого злобный.